

A detailed digital illustration of a woman with long, flowing white hair and blue eyes, wearing an ornate blue and gold outfit. A large, fluffy brown cat with green eyes is perched behind her head. The background shows a library with bookshelves and a window looking out onto a city.

Александра Ушакова

Ягиня
из
Бухгалтерии

Александра Ушакова

Ягиня из Бухгалтерии

Серия «Ягиня из бухгалтерии.», книга 1

<https://litres.ru/73188487>

SelfPub; 2026

Аннотация

Из обычной бухгалтерши — в Хозяйку магических законов. Алия Назарова платит за силу белыми волосами и вечным долгом. Её магия — не стихии, а расчёты: она заключает договоры с духами и балансирует счета апокалипсиса.

Рядом — Ивс, кот-архивариус, циничный наставник, и Святомир, страж-исполин, чья стальная воля дала трещину. Вместе они выживают в Откате — слоистой реальности, где город помнит СССР, а древние существа ведут холодные войны.

Но главная битва — внутри. Как остаться человеком, когда мир рушится? Как любить, когда каждый день — цена за вчера? История о том, что спасение — не в суперсиле, а в принятии боли, долга и чуда домашнего очага.

ГДЕ ЭПИЧЕСКОЕ ВСТРЕЧАЕТ БЫТ: ЧАЙ С БЛИНАМИ
НА КРАЮ КОНЦА СВЕТА.

Содержание

1. Исчезновение	4
2. Охота за тишиной	10
3. Призрачный город	17
4. Алиа	20
5. Мутация	23
6. Город нового и город прошлого	29
7. Утраченный кров	32
8. Засов	37
9. Тот, кто пришёл из тишины	42
10. Чай и печенье	54
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Ягиня из Бухгалтерии

1. Исчезновение

Каждый хотя бы раз в жизни мечтал проснуться единственным человеком на планете. Не просто уехать, не спрятаться в лесной чаще, а именно исчезнуть – раствориться в небытии этого мира, чтобы наконец-то зажить в своё удовольствие, не оглядываясь на чужие желания, не подстраиваясь под ритм чужого дыхания. Представлялось это всегда как праздник: ходить по магазинам, брать всё, что душе угодно, не ловя на себе косых взглядов продавщиц и ревнивых вздохов таких же покупателей. Засыпать в роскошном люксе самого дорогого отеля под аккомпанемент багрового заката, разлившегося по небу, как масляная краска по холсту. Встречать рассвет в запрещённых, огороженных колючей проволокой местах, где природа хранила свою первозданную дикость, куда раньше не пускали ни за какие деньги. И чтобы за это ничего не было – ни платы, ни расплаты, ни горького послевкусия вины.

А в один прекрасный июльский день мне нужно было просто продлить медицинскую книжку. Обычная, скучная формальность, без которой нельзя было выйти на работу. Встать в пять утра, когда город ещё спал тяжёлым предсветным сном, и ехать на другой конец города, в серое зда-

ние санэпидстанции, где всегда пахло хлоркой и казённым равнодушием.

Под любимый плейлист, в котором перемешались старые инди-группы и новая электроника, я неспешно шла до остановки. Июльское солнце уже начинало припекать, хотя до зенита было далеко; его косые лучи чертили на асфальте длинные, искажённые тени деревьев, похожие на пальцы спящих великанов. Утренняя дрёма ещё не отпустила меня – та сладкая, вязкая полусонность, когда мысли текут медленно, как патока, а тело движется по привычному маршруту на автопилоте. Ожидая автобус и листая новую книгу на телефоне – какой-то скандинавский детектив, где действие происходило в бесконечной зимней темноте, – я даже не обратила внимания на необычную тишину. Она вошла в моё сознание не сразу, а постепенно, как вода, просачивающаяся сквозь плотину. Прислонилась головой к прохладному стеклу остановочного павильона – и провалилась в сон. Глубокий, без сновидений, такой, какой бывает только после бессонной ночи или когда организм берёт своё вопреки любым обстоятельствам.

Меня разбудил резкий, неестественный в этой тишине звук упавшего телефона. Пластик гулко стукнулся о бетон, и этот звук показался мне оглушительным, нарушившим какой-то негласный запрет. Я нагнулась, подняла его, взглянула на экран – и сердце ёкнуло, пропустило удар, а потом забилось где-то в горле, часто и панически. Было 15:30. Я про-

спала больше десяти часов, прислонившись к грязному стеклу на автобусной остановке. Автобуса не было. На улице – тоже никого. Совсем.

Тишина стояла густая, абсолютная, будто весь мир... проспал. Но не так, как спят города ранним воскресным утром, когда редкие прохожие ещё не вышли на улицы. Это была тишина заброшенности. В ней не было даже фонового гула города – того низкочастотного рокота, который обычно не замечаешь, но который всегда есть: далёкий шум машин, чьи-то шаги, обрывки разговоров, хлопанье дверей, лай собак, воркование голубей на карнизах. Сейчас не было ничего. Абсолютный ноль. Казалось, сама Вселенная затаила дыхание.

Посидев на остановке ещё несколько минут, сжимая в руке телефон и тупо глядя на экран, где время упрямо перевалило за четыре часа, я попыталась обдумать ситуацию рационально. Я всегда была рациональной. Детский дом быстро отучает от бесплодных фантазий. Наверное, дорогу перекрыли для ремонта. Или произошла крупная авария, и движение пустили в объезд. Или это какие-то учения. Нужно было подняться выше, чтобы увидеть обстановку.

Я пошла вверх по проспекту, мимо витрин, за которыми горел приглушённый свет, мимо припаркованных машин, аккуратные ряды которых никто не нарушал. Пройдя две остановки, я поняла – людей нет. Вообще. Ни одного. Я остановилась посреди тротуара и медленно, на триста шестьде-

сят градусов, обернулась вокруг себя. Проспект уходил в обе стороны ровной серой лентой, обрамлённой зеленью тополей и клёнов. И на всём его протяжении, насколько хватало глаз, не было ни души. Ни фигурки вдалеке, ни силуэта у перекрёстка. Только машины, только дома, только деревья, застывшие в безветренном воздухе.

Я пошла дальше. По проспекту, где ветер играл сухими листьями, хотя стоял самый разгар лета. У тротуара лежали опрокинутые велосипеды – чьи-то, случайно брошенные, будто седоки исчезли прямо в момент движения. У ларьков с шаурмой и мороженым были распахнуты дверцы, и оттуда тянуло запахом подсохшего мяса и сладким ароматом вафельных стаканчиков. Я свернула к рынку – тому самому, куда по выходным стекались полгорода за свежими овощами и фермерским сыром. Под длинными металлическими навесами, защищавшими прилавки от солнца и дождя, стояли прилавки, полные овощей и товаров. Помидоры краснели ровными рядами, огурцы зеленели глянцевыми боками, на вешалках висели лёгкие летние платья, а на стеллажах стояли банки с мёдом, собранным на прошлогодней качке. Мерно гудели холодильники с молочкой, вентиляторы лениво вращали лопастями, но не было ни продавцов, ни покупателей. Во всей этой странной, замершей нормальности было что-то невыносимое. Словно мир сделал глубокий вдох и забыл выдохнуть.

На детской площадке, которую я миновала, сворачивая

к центру, сиротливо валялась игрушечная машинка – ярко-красный самосвал, перевёрнутый набок, будто попавший в аварию. Рядом стояла пустая коляска, лёгкая, летняя, с навесом в синий горошек. Она мерно раскачивалась взад-вперёд, подчиняясь порывам ветра, и это движение было единственным живым во всей мёртвой картине. Мне показалось на секунду, что сейчас раздастся детский плач, или смех, или капризный голосок, требующий внимания. Но тишина была непроницаема.

Я почти вышла на центральную площадь, надеясь увидеть там хоть кого-то. Площадь всегда была сердцем города – здесь назначали встречи, здесь кипела жизнь от рассвета до глубокой ночи, здесь стояли старинные часы с кукушкой, которые, как ни странно, продолжали отсчитывать время. Но площадь была пуста. Совершенно. Гранитные плиты уходили вдаль, отражая солнечный свет ровным, безликим блеском. Фонтаны не работали – чаши стояли сухими, и на их дне лежали горстки монет, брошенных когда-то на счастье. Тишина навалилась тяжёлой, физической массой. Она давила на барабанные перепонки, вызывая болезненное ощущение вакуума. Волосы на затылке медленно, по одному, поднялись, а в ушах застучала кровь – так громко, что этот звук казался мне теперь единственной реальностью.

Рациональные объяснения рассыпались в прах, как песок сквозь пальцы. Я перебрала все варианты: эвакуация, теракт, утечка газа, внезапная эпидемия – но ни один не выдерживал

проверки. Не бывает эвакуации без сирен, без машин, без суеты. Не бывает исчезновения ста тысяч человек без единого следа борьбы, паники, спешки. Всё вокруг выглядело так, будто люди просто... рассеялись. Испарились. Остался только леденящий вопрос, застрявший в горле, который я не могла произнести вслух, потому что голос отказал бы мне: что могло случиться, чтобы в одно мгновение исчезли все люди, кроме меня?

Почему я? Чем я заслужила это странное, чудовищное исключение?

2. Охота за тишиной

Ответа не было, и я запретила себе задавать этот вопрос снова. По крайней мере, сейчас.

Мой взгляд упал на велосипед, прислонённый к стене аптеки. Городской, с широким седлом и корзиной на руле, чей-то, оставленный на время и ставший теперь ничьим. Я не раздумывала. Схватила его за раму, вскочила в седло – юбка неудобно задралась, но мне было всё равно. Нужно было быстрее добраться до большого торгового комплекса. Может, там люди? Может, оттуда шла эвакуация, а я проспала? Может быть, в зданиях, в подвалах, в убежищах всё ещё кто-то есть?

Я крутила педали с остервенением, не замечая ни ссадин на голених, ни того, как пот заливает глаза. Ветер свистел в ушах, и это был единственный звук, который я создавала сама. Город проплывал мимо – красивые фасады, ухоженные клумбы, чистые улицы. Он был идеален. Словно его только что вымыли и выставили на всеобщее обозрение, как музейный экспонат.

Тяжёлые стеклянные двери «Гринвича» не были закрыты. Они застыли в неестественном, приоткрытом положении, будто люди выбегали второпях, не успев захлопнуть их за собой. Одна створка даже слегка подрагивала, открываемая и закрываемая невидимым сквозняком, и этот ритмич-

ный, механический звук – туда-сюда, туда-сюда – действовал на нервы. Я протолкнулась внутрь.

Мир торгового центра встретил меня приглушённым светом аварийного освещения и ровным гулом вентиляции. Я прошла все этажи, от яруса парковки, где в тусклом свете флюоресцентных ламп стояли ровные ряды машин, похожих на спящих зверей, до крыши с пустыми кафе, где столики под зонтиками ждали посетителей, а на барной стойке сох лимон, порезанный дольками для чьего-то забытого чая. Мои шаги гулко, неестественно громко отдавались под высокими сводами атриума, эхом разлетались по галереям, и в ответ звучала только навязчивая мелодия из динамиков – поп-песня, зацикленная на одном и том же припеве, и шипение не выключенных кофемашин, которые варили кофейную пену в никуда.

Я заглянула в каждый угол. В служебные помещения, где на мониторах охраны мерцали изображения пустых залов. В примерочные кабинки, где на крючках висели чужие вещи. В детскую игровую комнату, где на полу был разбросан конструктор, а на маленьком стульчике сидел плюшевый мишка, глядя на меня чёрными пуговицами глаз.

Никого. Ни единой души.

Всё моё напряжение, вся сжатая в тугой, болезненный комок тревога, весь страх, который я копила последние часы, вдруг нашёл выход. Я опустилась на холодную лавочку в центре атриума, под огромным стеклянным куполом, сквозь

который было видно синее, невыразимо равнодушное небо, уставилась в огромную пустоту вокруг и заплакала.

Слёзы текли сами собой, без всхлипов, без звука — я словно боялась нарушить тишину. Они обжигали щёки, капали на колени, оставляя тёмные пятна на джинсовой ткани. Я плакала о своей старой, серой жизни, которая теперь казалась мне раем. О людях, которых я никогда не замечала, о голосах, которые раздражали меня, о прикосновениях, которых я избегала. А потом, сквозь слёзы, прорвался смех.

Сначала тихо, будто я пробовала его на вкус. Потом всё громче, переходя в истерический, надрывный хохот, от которого в пустом зале поднималось жуткое, многократное эхо, размножая мой голос на сотни ладов и возвращая его мне же искажённым, издевательским отражением. Я смеялась до слёз — новых слёз, до боли в животе, до спазмов в горле, до полной потери голоса. Смеялась над абсурдом этого мира, над своей детской мечтой об одиночестве, над своей беспомощностью и над той чудовищной иронией, которая превратила мою самую заветную фантазию в самую страшную реальность.

Я поперхнулась этим надрывным смехом, когда эхо вернуло мне его в десятом, двадцатом повторении, исказив до неузнаваемости, сделав чужим. Я закашлялась, схватилась за горло. Нужно было взять себя в руки. Я не могла позволить себе сойти с ума. Не в первый же день.

В продуктовом отделе на первом этаже я взяла первую

попавшуюся бутылку воды – «Святой источник», с голубой этикеткой и прохладными каплями конденсата на пластике. Отпила несколько жадных глотков, чувствуя, как холодная влага обжигает разорванное горло, успокаивает спазм и немного, по капле, возвращает ясность сознанию. Я прислонилась спиной к стеллажу с чипсами и сухариками, закрыла глаза и заставила себя дышать ровно. Считать вдохи. Один... два... три... десять. Рациональность, словно испуганное животное, медленно возвращалась в своё убежище.

Когда я открыла глаза, взгляд стал другим. Цепким. Практичным. Выживающим.

Я прошла по комплексу ещё раз, но теперь уже не в поисках людей, а в поисках того, что могло бы мне пригодиться. В отделе туристического снаряжения, среди палаток, спальников и газовых горелок, я нашла самый большой рюкзак – объёмом девяносто литров, с усиленными лямками и поясным ремнём. Я начала методично складывать в него самое важное, проговаривая свои действия шёпотом, чтобы слышать хоть какой-то человеческий голос: «Консервы – тушёнка, сгущёнка, паштет. Сублимированные продукты в вакуумных упаковках – эти легче. Быстрые супы, каши, пакетики с лапшой. Спички, зажигалки, фонарик – запасной фонарик, обязательно. Аптечку – побольше бинтов, антисептики, обезболивающее...»

Мысли заработали с холодной, почти механической ясностью, той самой, которая включалась у меня в стрессовых

ситуациях ещё в детдоме, когда нужно было быстро собрать вещи или защитить себя. Сначала еда. Потом безопасность. Потом план. Я не знала, сколько продлится это странное, безлюдное состояние, но инстинкт подсказывал готовиться к худшему.

Со своей тяжёлой ношей, нагруженной до предела, я спустилась на парковку. Теперь мне был нужен транспорт. Удобный, быстрый и простой в управлении. Я обошла несколько рядов, заглядывая в окна, дёргая ручки. Ключи торчали в замках зажигания некоторых машин – люди уходили так внезапно, что не успевали забрать их. В одной, серебристой «Тойоте», на пассажирском сиденье лежал раскрытый ноутбук, на экране которого светилась пустая почтовая программа. В другой, старой «шестёрке» с облезлым лаком, на зеркале заднего вида болталась игрушечная копия машины, и это вызывало острое, невыносимое чувство тоски по чьей-то недожитой жизни.

Потом мой взгляд упал на ряд мотоциклов – два «Харлея» с хромированными глушителями, элегантный чёрный «Ямаха» и ярко-красный скутер. Они казались воплощением скорости и свободы в этом застывшем мире. Их можно было провезти там, где машина застрянет, можно было объехать любые заторы – но заторов-то и не было. Я подошла к самому маленькому, скутеру, села на него, обхватила руль. Но реальность вновь нанесла удар. Я не умела управлять ни им, ни даже велосипедом с мотором, если честно. Езда на

велосипеде была моим пределом. Мой старый мир с его умениями и ограничениями всё ещё существовал, привязывая меня к себе. Я не могла стать кем-то другим, даже если весь мир давал мне такую возможность.

Я вернулась в торговый комплекс, оставив мечту о мотоцикле там, на парковке, вместе с чувством собственной неполноценности.

В магазинах одежды мой выбор был продиктован холодной прагматичностью. Я сняла свои лёгкие туфли на плоской подошве, которые натирали ноги, и нашла удобные мужские берцы на толстой рифлёной подошве, на размер больше – влезет толстый носок. Потом тёплую куртку-авиатор из толстой кожи, с меховым воротником. Найти куртку своего размера в мужском отделе оказалось почти невозможным – всё было либо слишком широким в плечах, либо коротким в рукавах. Пришлось довольствоваться чужой, слишком просторной, пахнувшей незнакомым парфюмом – горьковатым, древесным, с нотками табака. Я натянула её поверх тонкой футболки и поймала себя на мысли, что впервые за день не чувствую чужого взгляда, примеряя вещи прямо в зале, скидывая их тут же на пол, если они не подходили. Не было продавщиц с их дежурными улыбками и заученными фразами, не было других покупательниц в очереди в примерочную, не было зеркал, в которых я привыкла сравнивать себя с другими.

Я была одна. И это было... странно освобождающе.

Выйдя на улицу, я подошла к своему велосипеду – тому самому, городскому, с корзиной. Установила рюкзак на багажник, затянула ремни так туго, как только могла. Положила ладонь на холодный, покрытый пылью руль и с внезапной, острой нежностью подумала: «Да. С тобой я надолго. Ты – единственное, что у меня сейчас есть». В этой мысли не было радости, только тяжёлое, свинцовое, но твёрдое принятие.

Домой я вернулась ещё до заката. Солнце клонилось к горизонту, окрашивая небо в лиловые и розовые тона, такие же, какими они были всегда, – природа не заметила исчезновения человечества. Я наглухо заперла дверь, проверила окна, задернула шторы. Не раздеваясь, в новой куртке, пахнувшей чужим одеколоном, и в тяжёлых берцах, сбив ноги, я рухнула на кровать. Сон накрыл меня мгновенно, как тёмная, тёплая вода. Перед самым отключением сознания мелькнула единственная ясная, острая мысль: «Сколько ещё продержатся электричество, вода и прочие блага цивилизации, работающие теперь лишь для меня одной? И что случится, когда они перестанут работать?»

3. Призрачный город

Утро пришло вместе с непривычной, оглушительной тишиной. Я проснулась от того, что не услышала привычного – утреннего шума города, сигналов машин, голосов под окном, лая собак. Тишина была такой плотной, что звенела в ушах, и мне казалось, я слышу, как течёт кровь по сосудам.

Но свет в лампе горел. Электричество было. Я машинально, по привычке, которая была сильнее любых катаклизмов, зарядила телефон и, почти не надеясь, проверила сеть. К моему изумлению, интернет работал. Лента социальных сетей загрузилась, обновилась, показала новые посты – но посты были старыми, недельной, двухнедельной давности. Мир умер, а его цифровая нервная система всё ещё пульсировала, транслируя то, что было записано до того, как всё случилось. Новости застыли на заголовках о политических скандалах и погоде на завтра. Сообщения в мессенджерах висели непрочитанными, и напротив каждого имени стояло время последнего визита – то самое, когда человек ещё был здесь, дышал, жил.

Это открытие дало мне ложное ощущение цели. Я не могла сидеть сложа руки. Мне нужно было что-то делать, искать ответы, проверять. Найдя в сети карты бомбоубежищ, схемы метро, списки подвальных помещений, отмеченных как защитные сооружения, я решила их проверить. Все. До одного.

Это стало моей миссией на ближайшие недели – ритуалом, который спасал меня от безумия бездействия.

Прошло два месяца.

За это время я привыкла к одиночеству так, как привыкают к хронической боли, – не замечая его, пока не сделаешь резкое движение, не наткнёшься на что-то, что требует другого присутствия. Я разговаривала сама с собой – сначала шёпотом, потом всё громче, потом на полный голос, потому что тишина начинала давить. Я пела в пустых квартирах, которые открывала чужими ключами, найденными в почтовых ящиках. Я читала вслух книги, стоя посреди библиотеки, и мой голос звучал под высокими сводами, как голос последнего человека на Земле. Что, в общем-то, было правдой.

Город вокруг не изменился, и в этом крылась главная странность, главная мистическая аномалия, которая не давала мне покоя. Уже через неделю я поняла: продукты в магазинах не портятся. Молоко в пакетах оставалось свежим, хлеб на полках не черствел, фрукты не гнили, мясо в витринах сохраняло свой розовый цвет. Словно время, которое продолжало отсчитывать секунды на моих часах, для всего остального остановилось. Товары восполнялись, словно по волшебству – я замечала это, когда возвращалась в уже обобранные мной магазины: полки снова были полны. Мусор, который я производила, исчезал на следующее утро, словно его выносил кто-то невидимый.

Всё было, кроме одного – живых существ.

Ни людей, ни собак, ни кошек, ни птиц, ни даже мух или пауков. Я была единственным живым существом в этом идеальном, застывшем, немом музее под названием «Земля». Я ловила себя на том, что рассматриваю собственную руку, чувствуя тепло своей кожи, слушаю своё дыхание, проверяю пульс – чтобы убедиться, что я ещё живая. Что я не стала такой же, как все.

4. Алия

Нашу героиню звали Алия Назарова.

Девушка самой обыкновенной, даже сероватой внешности – такой, которую не замечают в толпе, не запоминают при знакомстве, не ищут глазами в компании. Рост 165 сантиметров, худощавое, кто-то сказал бы – хрупкое телосложение, но в этой хрупкости скрывалась жилистая, нажитая годами полуголодного детдомовского детства выносливость. Русые волосы, которые она обычно стягивала в небрежный пучок на затылке, чтобы не мешались. Глаза неопределённого серо-голубого оттенка – такие называют «хамелеонами», потому что их цвет менялся в зависимости от освещения и настроения, но чаще всего они казались просто блёклыми, выцветшими. Аккуратный нос, пухлые губы, которые она редко расплывала в улыбке, и тонкие, нервные пальцы, всегда чем-то занятые – теребившие край одежды, перебирающие страницы книги, накручивающие на палец прядь волос.

Вся её жизнь до этого момента была выдержана в пастельных, приглушённых тонах. Детство окрасила двойная утрата: мать, женщина, которую Алия помнила смутно – только запах духов «Красная Москва» и мягкие, тёплые руки, – умерла скоропостижно от остановки сердца прямо на рабочем месте, в бухгалтерии завода, среди скучных серых папок и чёрно-белых отчётов. Ей было тридцать два. Отцу, ко-

торый и до этого был человеком сложным, не склонным к душевным излияниям и душевным же тратам, потеря жены стала последней каплей. Спустя три месяца он написал отказ от родительских прав и привёл семилетнюю Алию в детский дом, оставив на пороге, как ненужную вещь, напоминавшую о прошлом.

Она научилась быть незаметной, тихой, необременительной. В детском доме это было навыком выживания: не высовываться, не привлекать внимания, не вызывать зависти, не становиться мишенью. Она растворялась в серой массе таких же обездоленных детей, как струйка молока в чае. В школе училась чуть выше среднего – ровно настолько, чтобы не вызывать нареканий, но и не выделяться. Потом, после техникума, получила практическую специальность бухгалтера – ту же, что была у матери, словно пытаясь таким образом восстановить утраченную связь.

Отношения казались ей сложным и ненужным квестом. В восемнадцать был парень, который целовался в подъезде и обещал звёзды с неба, а потом исчез, как исчезают все мальчишки из детдомов, когда находят девочек «попроще» и «породистее». После этого Алиа решила, что любовь – это роскошь, которую она не может себе позволить. По вечерам она предпочитала уединение с книгой шумным тусовкам, сериалы – свиданиям, тишину – разговорам. Её мир был небольшим, предсказуемым и безопасным в своей скучности. Однокомнатная квартира на окраине, купленная в ипо-

теку, которую она выплачивала аккуратно, как часы. Работа в маленькой фирме, где ценили её педантичность и незаметность. Две-три подруги, с которыми она виделась раз в месяц, чтобы выпить кофе и обсудить пустяки.

Ирония судьбы была теперь абсолютной. Та, чьей главной мечтой было исчезнуть и жить в своё удовольствие в одиночестве, получила это сполна. Но наслаждения не было. Была лишь оглушительная тишина и абсолютная свобода, от которой сводило живот, от которой хотелось кричать, лишь бы услышать хоть чей-то голос в ответ. Вся её прежняя, серая жизнь теперь казалась невероятно яркой и тёплой в воспоминаниях – в ней были пусть чужие, но голоса, пусть формальные, но взгляды, пусть случайные, но прикосновения толпы в транспорте, чужое дыхание в очереди, чей-то смех за стеной.

Теперь же она была не просто одна. Она стала единственной точкой сознания в безжизненной вселенной, и этот факт давил тяжелее любого гравитационного поля. Иногда по ночам ей казалось, что она спит, что это всё – затянувшийся, слишком реалистичный сон. Она щипала себя до синяков, билась головой о стену, кричала в подушку – ничего не менялось. Мир продолжал молчать.

5. Мутация

Шёл её четвёртый месяц в одиночестве.

Рутина проверки пустых убежищ, которая занимала первые недели, давно сошла на нет. Все бомбоубежища, все подвалы, все запертые подземные переходы были пусты. В них не было ни людей, ни тел, ни следов борьбы, ни даже намёка на то, что кто-то пытался там укрыться. Город стоял пустой, чистый, идеальный, как макет в архитектурном бюро. Алия перестала искать ответы – она просто жила, установив для себя ритуалы, которые помогали сохранить рассудок. Каждое утро она обходила свой район, проверяя, всё ли на месте. Каждый день читала вслух по часу – чтобы голос не атрофировался. Каждый вечер смотрела закат с крыши своей девятиэтажки, сидя на парапете и болтая ногами в пустоте.

Но однажды утром она заметила неладное.

Сначала ей показалось, что это игра света. Она возвращалась из очередного «похода» в супермаркет, где набрала свежих продуктов – хлеб, как всегда, был мягким, молоко – холодным, овощи – упругими, будто только что сорванными с грядки. Но, проходя мимо сквера, где стояла та самая детская площадка с пустой коляской, она остановилась.

Деревья изменились.

Это было неуловимо, но невооружённым глазом. Клёны, которые всегда стояли ровными рядами вдоль аллеи, те-

перь... тянулись друг к другу. Их ветви, раскидистые, густые, сплетались в неестественные узлы, образуя подобия арок, тоннелей, а в одном месте – почти круглую, правильную форму, похожую на дверной проём. Листья на них были крупнее, чем Алия помнила, темнее, с почти чёрными прожилками, пульсирующими, как вены.

Она подошла ближе, и сердце её забилося быстрее. Не от страха – от давно забытого чувства живого, настоящего чуда. Вокруг этих сплетённых деревьев земля была взрыхлена, словно что-то прорывалось из-под неё наружу. Не было ни сорняков, ни травы – только ровная, тёмная, влажная почва, испещрённая странными узорами, похожими на письмена.

Алия протянула руку, чтобы коснуться коры, и отдернула её, будто обожглась. Кора была тёплой. Живой. Под её пальцами она чуть заметно пульсировала – медленно, ритмично, как сердце.

«Это просто дерево, – сказала она себе вслух, и голос её прозвучал жалко и тонко в этой тишине. – Просто дерево, Алия. Ты никогда не трогала кору раньше?»

Но она знала, что это неправда. За четыре месяца она изучила каждое дерево в этом сквере, каждую скамейку, каждую плитку на дорожках. Этого не было вчера.

Она обошла сквер. Теперь она видела – изменения затронули всё. Кусты сирени, которые росли вдоль забора, сомкнулись в плотную, непроницаемую стену, их ветви переплелись так часто, что между ними не просунуть и пальца.

Липа у входа в парк, которую Алия особенно любила за её раскидистую крону, под которой она часто сидела с книгой, теперь выглядела иначе – её ствол раздался вширь, кора покрылась наростами, напоминающими человеческие лица. Не лица – намёки на лица. Впадины глаз, выпуклость носа, открытый в беззвучном крике рот.

Алия отступила на шаг, потом на другой. Сердце колотилось где-то в горле. Это было не то, что она могла объяснить. Не результат отсутствия человека, не буйство природы, взявшей своё. Это было что-то другое. Что-то, что росло, менялось, адаптировалось.

И что-то, что, как ей вдруг показалось, смотрело на неё.

В последующие дни Алия вела дневник. Она записывала всё, что видела, с бухгалтерской скрупулёзностью, к которой привыкла за годы работы. Она зарисовывала узоры на коре, отмечала, где и какие изменения произошли, измеряла температуру почвы и влажность воздуха. Она стала одержима этим новым, живым миром, который прорастал сквозь мёртвый город.

Через неделю деревья в сквере сомкнулись окончательно. Они образовали купол, под которым царил полумрак, пронизанный странным, золотистым светом, идущим откуда-то сверху, из переплетения ветвей. Внутри этого купола воздух был другим – густым, сладковатым, с привкусом мёда и чего-то ещё, неуловимого, что кружило голову. Алия заходила внутрь несколько раз, и каждый раз ей казалось, что она

слышит звуки – далёкие, приглушённые, похожие на голоса. Но стоило ей замереть и прислушаться, как они исчезали, оставляя только гулкое биение собственного сердца.

На десятый день в центре этого живого купола, там, где ветви клёнов и лип сплелись в самый тугой и причудливый узел, образовался бутон. Он был огромным – размером с человеческую голову, тёмно-бордовым, с прожилками, пульсирующими в такт пульсу Алии, когда она подходила близко. Бутон рос на глазах, увеличиваясь с каждым часом, и к вечеру того же дня он раскрылся.

Алия стояла в нескольких шагах, затаив дыхание. Лепестки, тяжёлые, бархатистые, медленно, с почти слышимым шорохом, разворачивались наружу, открывая сердцевину. И там, внутри, на ворсистом, золотистом ложе, лежало яйцо.

Оно было белым, матовым, с едва заметными голубыми прожилками, и от него исходило тепло – Алия чувствовала его даже на расстоянии. Яйцо было размером с гусиное, но форма его была неестественно правильной, сферой идеальной, не созданной природой.

Алия смотрела на него, и в голове её, заглушая голос рассудка, звучало одно-единственное слово: «Моё». Это не было её мыслью. Это пришло откуда-то извне, из воздуха, из пульсирующего света, из самого сердца этого странного, нового мира, который просыпался вокруг.

Она протянула руку. Кончики пальцев коснулись скорлупы – тёплой, гладкой, живой.

И мир взорвался звуком.

Это был не тот звук, который она знала. Не голос, не музыка, не шум. Это была песнь – древняя, низкочастотная, которая шла не откуда-то извне, а рождалась внутри неё, вибрировала в костях, текла по венам вместе с кровью, заставляя каждую клетку её тела отзываться. В этой песне не было слов, но Алия понимала её. Она говорила о времени до времени, о земле до людей, о том, как мир дышал, когда некому было слушать его дыхание. Она говорила о том, что исчезновение людей было не катастрофой, а возвращением. И она говорила о ней, об Алии, – не ошибке, не исключении, а о той, кто была нужна. О единственной, кто остался, чтобы услышать.

Слёзы текли по её лицу, и она не вытирала их. Она стояла на коленях перед живым цветком, сжимая в ладонях тёплое, пульсирующее яйцо, и плакала. Впервые за четыре месяца её слёзы были не от страха и не от отчаяния. Это были слёзы узнавания.

Когда песнь стихла, а золотистый свет под куполом потускнел, став обычным, дневным, Алия медленно поднялась. Яйцо она положила в рюкзак, бережно обернув его запасной футболкой. Она не знала, что это было, не знала, что из него вылупится, не знала, кто или что положило его в этот бутон. Но она знала одно – её одиночество закончилось.

Она вышла из живого купола, и старый, мёртвый город встретил её всё той же тишиной. Но теперь в этой тишине

было что-то новое. Не ожидание, не угроза, а терпеливое, древнее, бесконечно долгое обещание.

Дома Алия поставила яйцо на подушку, на самое тёплое место – на батарею, которая продолжала греть, потому что город продолжал жить своей странной, полужизнью. Она села напротив и стала ждать.

В окно светил закат, и его багровый свет смешивался с теплотой комнатной лампы, и в этом свете скорлупа яйца казалась полупрозрачной. Алии почудилось – или не почудилось? – что внутри что-то шевельнулось. Маленькое, живое, отвечающее ей своим, ещё не родившимся, но уже существующим ритмом.

Она улыбнулась.

Впервые за четыре месяца.

И тишина вокруг не была больше пустой. Она была полна ожидания.

6. Город нового и город прошлого

Сначала она не верила своим глазам.

Это началось с мелочей – с тех неуловимых деталей, которые можно списать на усталость, на игру света, на то, что память иногда рисует нам картины, не соответствующие действительности. Алия ехала на своём верном велосипеде по проспекту Ленина, где ещё вчера ровными рядами стояли стеклянные башни бизнес-центров, и вдруг поймала себя на мысли, что одна из них... изменилась. Ей показалось, или фасад стал другим? Меньше стекла, больше камня. Она остановилась, прищурилась, вглядываясь. Нет, всё было на месте. Наверное, просто усталость. Или свет утреннего солнца, падающий под необычным углом, создаёт оптическую иллюзию.

Но на следующий день иллюзия повторилась. И на следующий – тоже. А через неделю она уже не могла отрицать очевидное.

Методично объезжая районы, она стала фиксировать перемены. Взяла в городской библиотеке – той самой, где всё ещё пахло книжной пылью и где на столе библиотекаря стояла чашка с давно остывшим чаем – подробную карту Екатеринбурга. Каждый день она отмечала на ней изменения, словно штурман, прокладывающий курс по незнакомому морю. Красным фломастером закрашивала то, что исчезло. Си-

ним – то, что появилось на месте исчезнувшего.

Новые жилые комплексы стирались, как карандашный набросок ластиком. Не взрывались, не рушились, не рассыпались в прах – они просто... становились другими. Стекло и бетон тускнели, теряли чёткость, словно изображение на старой фотографии, и сквозь них начинали проступать иные очертания. Ажурная лепнина. Чугунные решётки с замысловатым литьём. Вывески с ятями и ерами, с дореформенной орфографией, на языке, который Алия узнавала, но с трудом могла прочесть. Один квартал в центре, который ещё вчера был застроен безликими панельными многоэтажками, сегодня предстал перед ней в полном своём преображении: двухэтажные особнячки с мезонинами, мощёная брусчатка вместо асфальта, кованые фонари на чугунных столбах и даже старые, раскидистые липы, которых здесь никогда не было, но которые, казалось, росли на этом месте веками.

Екатеринбург постепенно сбрасывал с себя XX и XXI века, словно ненужные, чужеродные слои. Время здесь шло вспять, но не линейно, а прихотливо, выбирая, что стереть, а что оставить. Сталинки исчезали, уступая место купеческим особнякам. Хрущёвки таяли, как прошлогодний снег, открывая вид на деревянные дома с резными наличниками. Асфальт кое-где сменялся булыжной мостовой, а современные светофоры – шлагбаумами и конными статуями, которых Алия никогда прежде не видела.

Она пыталась понять логику. Объехала весь город за

несколько дней, делая остановки, записывая наблюдения в толстую тетрадь, которую носила с собой. В спальных районах изменения шли медленнее, будто прошлое не слишком торопилось заявлять права на эти земли. В центре же, наоборот, всё происходило стремительно, словно город вспоминал себя – настоящего, того, каким он был до того, как его накрыло волной индустриализации, войн, революций.

Она нашла в библиотеке дореволюционные путеводители по Екатеринбургу, альбомы с фотографиями, карты. Сравнивала, сверяла, и каждый раз её охватывал липкий, холодный ужас, смешанный с нездоровым, запретным любопытством. Город возвращался к своему золотому веку – к началу двадцатого столетия, когда здесь ещё жили купцы, золотопромышленники, когда по главным улицам гремели пролётки, а в театрах шли премьеры чеховских пьес.

Но самым страшным было не то, что город менялся. Самым страшным было то, что он менялся не для неё.

7. Утраченный кров

Вечером того же дня, когда она вернулась из очередной поездки, усталая, пропахшая пылью и бензином из вечно работающих, но никому не нужных заправок, её ждал новый удар.

Она ехала по своей улице – и не узнавала её. Совсем.

Знакомых панельных девятиэтажек, этих серых, однообразных свечек, которые она видела из своего окна каждый день на протяжении четырёх лет, не было. Исчезли даже следы их фундаментов. Вместо них тянулась ровная линия невысоких, в два-три этажа, домов с черепичными крышами, с парадными подъездами, украшенными пилястрами и коваными козырьками. Дворы, ещё вчера заставленные рядами припаркованных машин, теперь были зелёными палисадниками, где цвели кусты сирени и жасмина, хотя до цветения было далеко. Асфальт исчез, уступив место тротуарной плитке, выложенной ёлочкой, – старой, потрескавшейся, поросшей мхом по швам.

Алия остановилась на перекрёстке, судорожно оглядываясь по сторонам. Её велосипед, верный спутник последних месяцев, стоял под ней, и она чувствовала, как дрожат её колени, упираясь в педали. Она знала этот район. Она жила здесь четыре года, с тех пор как получила ключи от своей однушки, купленной в ипотеку, – крошечного, но своего угол-

ка. Она знала каждое дерево, каждую скамейку, каждую трещину в асфальте. Теперь ничего этого не было.

Она поехала дальше, медленно, вглядываясь в номера домов. Старые, чугунные таблички, прикрученные к фасадам, сообщали адреса, которых не существовало вчера. Улица называлась так же – Свердлова, – но всё остальное изменилось до неузнаваемости.

Когда она подъехала к месту, где должен был стоять её дом, сердце упало и забилось где-то в горле, перекрывая дыхание.

Дома не было.

Вместо знакомой панельной девятиэтажки с облупившейся краской на балконах и вечно сломанным домофоном перед ней стоял старый особняк. Двухэтажный, с высокими, почти в человеческий рост, окнами, с лепниной на фасаде, изображавшей гирлянды из цветов и фруктов, с массивной дубовой дверью, украшенной кованой ручкой в виде львиной головы. Исчезла современная отделка, исчезли пластиковые окна, исчез домофон, исчез кодовый замок на подъезде – всё, что напоминало о её времени. Особняк выглядел так, будто простоял здесь не одно десятилетие, а может быть, и целый век. Стены его дышали основательностью, той самой, что бывает только у вещей, созданных на совесть, с расчётом на то, что они переживут своих хозяев.

Алия слезла с велосипеда, прислонила его к чугунной ограде, огораживающей небольшой палисадник, и подошла

к двери. Её рука сама потянулась к ручке – и она поняла, что знает, как её открыть. Не раздумывая, нажала, повернула. Дверь со старым, протяжным скрипом отворилась, приглашая внутрь.

Словно во сне, она переступила порог. Словно в затянувшемся, слишком реальном кошмаре, она поднялась по лестнице – лестнице, которая теперь была здесь, хотя ещё вчера на этом месте был лифт с ободранными стенами и пахнущий мочой. Лестница была широкой, с коваными перилами, с мраморными ступенями, отполированными миллионами шагов до зеркального блеска. На стенах висели тяжёлые, тёмные картины в массивных рамах – пейзажи, которых Алия никогда не видела, но которые казались ей смутно знакомыми, словно из детского сна.

Дверь её квартиры – четвёртой на втором этаже, там, где раньше была её дверь с номером 47, обитая дешёвым дерматином, – не была заперта. Более того, двери как таковой не было – был высокий, стрельчатый проём, завешенный тяжёлой портьерой из бархата цвета бордо. Алия раздвинула портьеру и вошла внутрь.

И замерла.

Её квартиры не было. «Европейский ремонт», который она сделала два года назад, влезший в долги и отнявший все сбережения, – исчез. Не стало натяжных потолков с точечными светильниками, не стало ламината, который она так тщательно выбирала, не стало кухонного гарнитура из ИКЕИ,

который она собирала сама по ночам, глотая слёзы от усталости и гордости за свою самостоятельность. Вместо этого были высокие, не меньше четырёх метров, потолки с лепными розетками и тяжёлой бронзовой люстрой в центре. Стены, обитые тканью в полоску, – тканью, которая, казалось, впитала в себя запахи столетий: табачный дым, дорогие духи, восковую полировку. Массивные шкафы из тёмного, почти чёрного дерева с резными деталями – листьями аканта, виноградными гроздьями, мифическими зверями, застывшими в немом крике. Тусклое, в полный рост, зеркало в резной раме, покрытой патиной, отражало её – маленькую, растерянную, в пыльной куртке-авиаторе, с рюкзаком за плечами, – и делало её чужой в этой комнате.

В воздухе висели запахи старой пыли, воска, которым натирали паркет, и чего-то неуловимо чужого – запаха жизни, которая текла здесь до неё, чьих-то привычек, чьих-то тайн, чьих-то дыханий, навсегда впитавшихся в стены. Тяжёлые шторы на окнах, занавешенные до самого пола, почти не пропускали света, и в комнате царил полумрак, в котором предметы теряли свои очертания, превращаясь в смутные, угрожающие тени.

Её прошлая жизнь. Её крошечное убежище. Её угол, который она строила годами, который был её крепостью, её доказательством того, что она чего-то стоит, что она может, что она справилась, несмотря на детдом, на одиночество, на вечное чувство, что она лишняя. Всё это было стёрто.словно

никогда и не существовало.

Она прошла в комнату – туда, где раньше была спальня, а теперь стояла массивная кровать с балдахином из тяжёлого шёлка. На столике у кровати – подсвечник с оплывшей свечой, старинные часы с маятником, застывшие на без четверти шесть. Она открыла шкаф – внутри висели длинные, до пола, платья из тяжёлых тканей, стояла обувь, которую никто не носил десятилетиями, лежали шляпки в пыльных коробках. Всё это было чужим, не её, не принадлежащим её времени, её жизни, её памяти.

Теперь у неё не было даже своего угла. Она оказалась пленницей в стремительно стареющем городе, который отнимал у неё всё, что она знала, всё, что составляло её идентичность, и взамен давал чужую, насильственную историю, надетую на неё, как не по размеру сшитый костюм.

8. Засов

Она вышла в коридор. Сердце колотилось где-то в горле, в висках пульсировала кровь, и в ушах стоял звон – тот самый, который появлялся в моменты крайнего напряжения, когда организм готовился либо к бою, либо к бегству. Но бежать было некуда. Город больше не был её городом. И дом больше не был её домом.

Взгляд её упал на дверь. Не на портьеру, за которой был выход на лестничную клетку, а на дверь – настоящую, тяжёлую, обитую железом, с массивным засовом. Такого здесь не было раньше, и она не помнила, чтобы видела его, когда входила. Но он был. Был здесь, наверное, всегда, просто она не замечала его за портьерой. Или он появился только что, вместе с её осознанием того, что она осталась без дома.

Алия подошла к двери, провела пальцами по холодному, шершавому металлу. Засов был старым, кованым, с тяжёлой ручкой и проушиной для замка. Замка, впрочем, не было – только массивная щеколда, которая с глухим, окончательным звуком вставала на место, отрезая этот мир от мира снаружи.

Она заперла дверь. Механизм щёлкнул с таким звуком, какой бывает, когда захлопывается крышка гроба, – тяжёлым, необратимым. Алия прислонилась спиной к холодному железу, закрыла глаза. Тишина, которая окружала её послед-

ние месяцы, стала теперь другой – не пустой и безжизненной, а плотной, вязкой, наполненной невидимым присутствием. Ей казалось, что стены этого дома помнят слишком многое. Что они не просто хранят память, а живут ею, дышат ею, и это дыхание сейчас касалось её затылка, её плеч, её рук, требуя чего-то, чего она не могла понять.

Она открыла глаза и медленно, будто боясь спугнуть тишину, прошла обратно в комнату. Диван – старый, с высокой, жёсткой спинкой, обитый тканью, выцветшей до неопределённого серо-зелёного цвета, – стоял у стены, под зеркалом. Она рухнула на него, не снимая рюкзака, не разуваясь, и уставилась в потолок, где лепная розетка казалась ей теперь не украшением, а глазницей, из которой кто-то смотрел на неё.

И тогда слёзы пришли.

Сначала медленно, по одной, они скатывались по щекам, оставляя мокрые дорожки. Потом – всё быстрее, всё обильнее, переходя в поток, который она не могла остановить. Она плакала от бессилия перед этой чужой, наступающей историей, которая заглатывала её настоящее, её прошлое, её саму. Плакала от страха – не того, острого, панического, который заставляет бежать, а глубокого, экзистенциального страха перед тем, что она перестаёт существовать. Что её жизнь, её воспоминания, её опыт – всё, что делало её Алией Назаровой, бухгалтером из Екатеринбурга, сиротой, одиночкой, человеком, который любил читать по вечерам и пить кофе по

утрам, – стирается, как стираются с лица земли целые кварталы. И скоро не останется ничего, что подтвердило бы, что она вообще когда-то жила.

Она плакала от утраты последнего оплота своей реальности. Той квартиры, которую она выплачивала четыре года, куда въехала с двумя чемоданами и где обустраивала каждый угол с такой тщательностью, словно строила гнездо. Той квартиры, где она впервые почувствовала себя не гостьей, не временной жиличкой, а хозяйкой. Где научилась быть одной, не чувствуя себя одинокой. Где её ждали книги, её кружка с треснувшей ручкой, её плед, которым она укрывалась холодными вечерами. Ничего этого не осталось. Даже память об этом начинала казаться ей ненадёжной, шаткой, как сон на грани пробуждения.

Слёзы лились до тех пор, пока не наступило полное изнеможение. Тело стало тяжёлым, чужим, будто налитым свинцом. Голова гудела, глаза жгло, но внутри, на смену отчаянию, пришла странная, пустая успокоенность – такая бывает, когда перестаёшь бороться с тем, что не в силах изменить.

Она не заметила, как провалилась в сон. Беспокойный, тяжёлый, полный обрывков видений: лепные потолки, которые опускались на неё, грозя раздавить; зеркала, в которых отражались не её лицо, а чужие, незнакомые черты; тяжёлые шаги на лестнице, приближающиеся к двери, скрежет ключа в замочной скважине, и чужой, глухой голос, который звал её по имени, но имя было не её.

Она проснулась в темноте.

В комнате не было света – ни уличных фонарей, которые горели каждую ночь на протяжении четырёх месяцев, ни ламп, ни даже тусклого свечения далёких окон. Только тьма, густая, осязаемая, и в этой тьме она слышала, как тикают часы на столике у кровати. Те самые, старинные, с маятником. Без четверти шесть. Они показывали одно и то же время, и маятник мерно, неумолимо отсчитывал секунды, которых, возможно, больше не существовало.

Алия лежала на жёстком диване, в чужой комнате, в чужом городе, в чужом времени, и слушала тишину. Но теперь в этой тишине было не только одиночество. Было что-то ещё. Что-то, что ждало. Что-то, что наблюдало за ней из-за бархатных штор, из-за тусклого зеркала, из-за лепных розеток на потолке. Что-то, что имело терпение веков и план, которого она не могла понять.

Она закрыла глаза и прошептала в темноту:

– Что ты такое? Что тебе от меня нужно?

Ответа не было. Только тиканье часов. Только тяжёлое, древнее дыхание стен. Только её собственное сердце, которое, казалось, билось теперь в такт чему-то большему, чем она сама.

А где-то в рюкзаке, оставленном у двери, в футболке, которой она обернула его несколько дней назад, лежало белое яйцо с голубыми прожилками. И в темноте, в тишине, в этом чужом, наступающем прошлом, оно было единственным, что

связывало её с настоящим.

Единственным, что пульсировало в такт её сердцу.

Единственным, что обещало, что она не одна.

Что бы ни случилось дальше.

9. Тот, кто пришёл из тишины

Её разбудил шум.

Не тишина – та самая, ставшая за четыре месяца привычной, почти родной, – а настоящий, настойчивый, живой шум за окном. Стук. Скребуший звук когтей по старому дереву, царапанье, от которого по спине побежали мурашки. Алия открыла глаза, и первые секунды сознание отказывалось собирать картинку в единое целое: чужой потолок с лепниной, тяжёлые шторы, пробивающийся сквозь них призрачный рассветный свет.

В окно её второго этажа, в первые лучи солнца, окрасившие небо в нежные, акварельные тона розового и золотого, ломился чёрный кот.

Не просто кот – огромный, размером с небольшого пса, с угольно-чёрной, лоснящейся шерстью, отливающей синевой, как вороново крыло. Острые кисточки на высоких, чуть настороженных ушах придавали ему сходство с рысью, а невероятно пушистый хвост, который он держал трубой, напоминал беличий – только чёрный, смоляной, без единой светлой шерстинки. Глаза его горели в полумраке двумя разными огнями: один – золотистый, как расплавленный металл, другой – зеленоватый, с прищуром опытного царедворца. Он с деловым, нетерпеливым видом стучал лапой по старой деревянной раме, и от каждого его удара тонкое стекло

жалобно позвякивало.

Это был кот породы мейн-кун – существо из её прежней, забытой жизни, невозможное здесь и сейчас. В мире, где не осталось ни собак, ни птиц, ни даже мух, внезапно появился этот огромный, ухоженный, явно не бродячий зверь. И вёл он себя так, будто имел полное право нагло требовать впускания в чужой дом на заре.

Алия замерла, не веря своим глазам. Она сидела на жёстком диване, всё ещё в куртке-авиаторе, сбившейся набок, с опухшим от ночных слёз лицом, и смотрела в рассветное окно. А в нём – на чёрного кота, который смотрел на неё в ответ с выражением, недопустимым для животного: в его взгляде читались и нетерпение, и лёгкое презрение, и что-то ещё, похожее на... узнавание. Их взгляды встретились, и на секунду Алиии показалось, что время остановилось – не так, как в первые дни после исчезновения, а иначе: с напряжением, с ожиданием, с затаённым дыханием чего-то, что должно было произойти.

Кот перестал скрестись. Он уселся на подоконнике, обернул себя хвостом, как шалью, и уставился на неё в упор. В его позе было столько уверенности и достоинства, что Алия почувствовала себя не хозяйкой квартиры, а незваной гостьей, которую вот-вот выставят за дверь.

– Чего уставилась? – раздался низкий, слегка хрипловатый голос, полный явного недовольства и той особенной, кошачьей интонации, когда животное знает себе цену и не со-

бирается её занижать.

Алия открыла рот. Закрыла. Открыла снова. Её горло издало звук, похожий на писк птенца, выпавшего из гнезда.

– Открывай, говорю. – Кот прищурил свои разноцветные глаза, и в его голосе появились нотки усталого терпения, с которым взрослые объясняют очевидные вещи несмышлёным детям. – Промок я тут, сквозняки эти ваши... И вообще, негоже держать гостя на пороге. У нас так не принято.

«У нас» – прозвучало так, будто речь шла о целом мире, о неких правилах, которые Алия должна была знать, но не знала. Она почувствовала себя провинившейся школьницей, забывшей выучить урок, – и это чувство было таким острым, таким земным, таким *человеческим* после месяцев безмолвия, что слёзы снова подступили к глазам, но на этот раз совсем по другой причине.

Дрожащими руками она опустила ноги с дивана. Пол показался ледяным, хотя батареи работали. Она сделала несколько шагов к окну, и каждый шаг давался ей с трудом, словно она шла не по паркету, а по зыбкой, неустойчивой поверхности сна. Отодвинула тяжёлый засов – старый, чугунный, который появился здесь вместе с особняком и который она видела впервые в жизни, но пальцы почему-то знали, как с ним обращаться. Рама со скрипом подалась внутрь, впуская в комнату утреннюю прохладу, запах мокрой листвы и чего-то ещё – острого, звериного, живого.

Кот впрыгнул внутрь одним движением – не прыжком, а

плавным, текучим броском, как чёрная тень, отделившаяся от предрассветного сумрака. Он приземлился на подоконник, на секунду замер, оглядывая комнату с видом ревизора, проверяющего состояние вверенного ему хозяйства, а затем с достоинством сошёл на пол и направился к дивану. Там он развернулся несколько раз – как все кошки перед тем, как улечься, – и с тяжёлым, почти человеческим вздохом швырнул себя на обивку. Уселся он не как животное, а как человек, до предела уставший за долгий день: развалившись, вытянув передние лапы, задрав морду к потолку и прикрыв глаза.

– Ну что, домечталась, дурында? – проговорил он вполголоса, и в его тоне не было и тени шутки. Только усталая, древняя горечь и что-то, отдалённо напоминающее отцовское разочарование, когда ребёнок совершает глупость, которую взрослые предвидели, но не смогли предотвратить.

Алия стояла у окна, всё ещё держась за ручку рамы, и чувствовала, как пол уходит у неё из-под ног.

– Кто загадывает желания в летнюю ночь, на двадцать первое июня? – продолжал кот, не открывая глаз. Голос его звучал ровно, но в нём сквозила скрытая, глубинная тревога. – Эх, знала бы твоя матушка... Ох, бедная Ада. Следили, следили за тобой, и вот – не уследили. Морок, он ведь кого хочешь обманет, а тут ещё и сила летнего солнцеворота... Не простила бы она себе. Никогда бы не простила.

При упоминании о матери у Алии перехватило дыхание.

Её мать звали Адой, точнее, Аделаидой. Она никогда не говорила об этом вслух — имя было слишком необычным и нездешним, и в детском доме его быстро заменили на более привычное, записанное в документах. Но она помнила. Помнила, как мать шептала это имя над её колыбелью, как оно звучало мягко и певуче, словно колыбельная. Откуда этот незнакомый кот мог знать имя её матери?

— А... вы... ты... Что? Кто?... — только и смогла вылепетать Алия, чувствуя, как предательски дрожит голос, как слова рассыпаются, не успев сложиться во что-то осмысленное. — Вы... кто вы?

Кот открыл глаза. На секунду, всего на секунду, в его разноцветных глазах мелькнуло что-то, похожее на сожаление — острое, быстрое, как вспышка. Затем он грациозно, по-старомодному изящно склонил голову в неглубоком поклоне, как истинный гусар перед дамой, и провёл лапой по усам, поправляя их с видом великосветского щёголя.

— Я — Ивс. — Имя прозвучало просто, без пафоса, но в нём было что-то весомое, настоящее, как камень на дне реки. — А ты, дурында, загадала в ту ночь. Ага. Загадала от всей души — и вот тебе, расхлебывай. — Он помолчал, и в его голосе послышалась непривычная, почти человеческая усталость. — Мне теперь. Пришлось время откатывать, чтобы ты совсем не пропала. Мир-то тебя выставил за ворота. За твою... враждебность к нему.

Ивс, не обращая внимания на её смятение — а может быть,

наоборот, видя его и намеренно давая ей время переварить услышанное, – продолжал ворчать, будто разглагольствуя перед нерадивым подчинённым. Он говорил тоном чиновника, вынужденного разбирать запутанное дело, в которое ввязался против воли.

– Вот если бы не господа летние месяцы, со своей силой да долготой дней... Самая длинная ночь в году – она ведь не только про темноту. Она про грань. Про то место, где миры сходятся и где желания, если они чистые – или, напротив, очень тёмные, – имеют вес. Ты, глупая, могла бы и вовсе испариться, как роса на солнце. Ни следа бы не осталось, ни имени, ни памяти. А так... – Он махнул лапой в сторону окна, за которым уже разгорался новый, странный день. – Так мы хоть что-то успели сделать.

Алия слушала, и каждое новое слово кота врезалось в её сознание, как гвоздь в стену – глубоко, необратимо. Она не понимала смысла, но чувствовала правду. Ту самую, которая не требует доказательств, потому что живёт в костях, в крови, в том древнем, доязыковом слое сознания, где человек ещё помнит, что он – часть мира, а не венец его.

– Так что скажи спасибо роду своему, – продолжил Ивс, и голос его стал мягче, почти задумчивым. – Твоя прапрапрабабушка нас, бывало, в баньке парила, спать укладывала да блинами с пирогами кормила. Долги, понимаешь ли, вещь обоюдная. Сделал добро – жди, что когда-нибудь к тебе вернётся. Но и просишь – тоже будь готова отдать. А ты попро-

сила, Алия. Ох, как попросила...

– Я... – Алия заикалась, как провинившаяся первоклассница перед грозным директором. Её мозг, привыкший к порядку и системности, отказывался складывать эти обрывки в целостную картину. Всё, что она знала о мире, рассыпалось, как карточный домик, и вместо него открывалась бездна – тёмная, древняя, полная имён и сил, о которых она не имела понятия. – А кто она, моя прабабушка? И вы... кто? И что вообще происходит? Что за желание? Я ничего не загадывала! Я просто... просто жила!..

Вопросы, накопившиеся за месяцы одиночества, вырвались наружу разом, как вода из прорванной плотины, и разбили о каменную стену непонимания. Ответов не было. Было только это странное, невозможное существо, развалившееся на её диване и смотревшее на неё с выражением, в котором смешались усталость, раздражение и что-то ещё – глубокая, почти родительская печаль.

От этой беспомощности, от давления неведомого прошлого, которое вдруг навалилось на неё всей своей тяжестью, от абсолютного бессилия в настоящем – там, где она всегда была хозяйкой своей жизни, пусть и маленькой, пусть и серой, – внутри что-то надломилось.

Алия медленно, будто каждое движение причиняло физическую боль, сползла на пол. Села на корточки, обхватила руками свои колени в поношенных серых джинсах, сжалась в комок, стараясь стать как можно меньше, незаметнее,

как учили в детстве, когда опасность была слишком большой, чтобы с ней можно было справиться. Глухие, бесшумные рыдания сотрясали её худое тело. Она плакала не просто от страха – от краха всего, что она считала реальностью. От того, что её тихая, предсказуемая жизнь, её убежище, её стены оказались иллюзией, за которой скрывался мир, где ко-ты разговаривают, а желания, произнесённые в летнюю ночь, имеют силу.

Ивс на мгновение смолк. Его золотые и зелёные глаза сузились, и в их глубине мелькнуло что-то, похожее на растерянность – чувство, явно незнакомое этому существу. Он, кажется, впервые рассмотрел не просто «дурынду», не просто наследницу, допустившую оплошность, а глубокую, живую боль на её лице. Боль, которую не залатать заклинаниями и не отменить откатом времени.

– Ты чего разрыдалась-то? – спросил он, и в его привычном ворчании появилась едва уловимая трещинка – что-то тёплое, обеспокоенное, почти нежное. – Отец-то тебе ничего не рассказывал, что ли? Матушки твоей не стало, я знаю... это горе, тяжёлое горе... но отец... Он же должен был. Он обещал. Ещё тогда, когда уходил, когда Ада...

– Нет у меня отца! – вырвалось у Алии сквозь слёзы, горько и резко, как крик раненого зверя. Слова полетели сами собой, без контроля, без цензуры, – всё то, что копилось годами в глубине души, куда она не позволяла себе заглядывать. – Он... он сдал меня. В детский дом. Как вещь. Как

ненужную вещь. Привёл за руку, посадил на скамейку, положил на колени письмо и ушёл. Даже не обернулся. Я сидела и смотрела ему вслед, пока он не скрылся за углом. Мне было семь лет. Семь! И я ждала. Целый день ждала. Думала, он вернётся. Что это проверка. Что он не мог меня бросить. А он не вернулся. Никогда.

Она снова сжалась в комок, и её рыдания стали тише, но оттого только безнадежнее. Это была давняя, выжженная в душе пустота – та самая, которую она научилась не замечать, обкладывая её книгами, работой, серыми буднями, в которых не было места для боли. Но сейчас, в этом странном, изменившемся мире, под взглядом чёрного кота, который смотрел на неё с чем-то, похожим на стыд, пустота открылась. И оказалось, что она не затянулась, не заросла, не забылась – она была всё там же, глубокая и чёрная, как колодец без дна.

Ивс замер. Его пышные усы дёрнулись, а хвост, ещё минуту назад лениво лежавший на диване, напрягся и замер. В его разноцветных глазах мелькнуло что-то, похожее на потрясение – и, возможно, на вину.

– М-да... – протянул он наконец, и в его голосе прозвучала тяжесть, неподъёмная для кошачьих интонаций. Тяжесть древнего, усталого существа, которое видело слишком много человеческих глупостей, но к этой не могло привыкнуть. – Дела... Говорили же ей, Аде, не обольщаться людьми. Не слушала. – Он прикрыл глаза, будто вызвав из памяти дав-

ний, бережно хранимый образ. – Эх, помню, вот как сейчас... Как она радовалась, когда её на практику в Теневой Мир направили. В четвёртый сектор. Лучшая на всём курсе была, блестящая... Светлая, быстрая, умная – вся в свою мать, в твою прабабку. А потом встретила его.

Он открыл глаза, и в них было что-то, похожее на сожаление о том, что нельзя исправить, даже имея власть над временем.

– Твоего отца. Обычного человека. Симпатичного, весёлого, такого... живого. Она ведь всегда тянулась к жизни, к теплу, к тому, чего в нашем мире не хватает. А он... он не знал. Не понимал, кто она. И когда узнал – испугался. Не все люди готовы принять правду о том, что мир больше, чем они думают. Он испугался, убежал. А потом... – Ивс помолчал, подбирая слова. – Потом, когда ты родилась, он попытался. Честно попытался. Но сломался. Не выдержал. И поступил так, как поступил. Это не оправдание, девочка. Это просто... объяснение.

Он спрыгнул с дивана с неожиданной для его размеров лёгкостью – бесшумно, как тень, скользнувшая по паркету. Подошёл к сжавшейся фигурке, помедлил секунду, будто преодолевая собственную неловкость, а затем потёрся макушкой о её опущенную голову. Его шерсть была тёплой, мягкой, пахла лесом и ночным ветром. А затем он сделал то, что выглядело совершенно невозможным для кота, даже для такого необычного, – он обнял её за плечи одной мощной,

пушистой лапой и принялся слегка, неуклюже похлопывать.

– Ну, ну, девочка... – запричитал он, и его привычный ворчливый голос смягчился, стал бархатистым и тёплым, как плед, в который укутывают замёрзшего ребёнка. – Ну, ну... Тоже мне, кикимора болотная нашлась. Плакать – это не грех, но меру надо знать. Ты же Яги. Тебе воду-то лить не пристало. Яги землю сушат, а не мочат.

Он аккуратно, подушечкой лапы, которая оказалась на удивление мягкой и нежной, вытер слёзы с её опухших щёк. Его чёрная шерсть впитывала влагу, как шёлк, и от этого прикосновения Алии вдруг стало легче – будто вместе со слезами он забирал часть боли, той самой, что копилась годами.

Алия подняла на него глаза – глаза обиженного на весь мир ребёнка, в которых смешались боль, непонимание, недоверие и крошечная, робкая искорка надежды на это странное, невозможное утешение.

– Какая Яги?... – всхлипнула она, не в силах понять намёк. – Кто такая Яги? Я не... Я бухгалтер. Я просто бухгалтер, Ивс. Я считаю чужие деньги и заполняю декларации. Я ничего не знаю про... про Теневые Миры и практики. Я даже кота себе никогда не заводила, потому что в съёмной квартире нельзя было!

Ивс отстранился, и в его разноцветных глазах, ещё минуту назад полных нежности, вспыхнул смешливый, таинственный прищур – тот самый, которым старые, мудрые существа

смотрят на молодых, когда те говорят что-то наивное и нелепое, но при этом бесконечно дорогое.

— Той самой Яги, — многозначительно сказал он, и эти слова повисли в воздухе старой квартиры, словно заклинание, произнесённое вслух. — Бабы-Яги. Кощейки. Хозяйки междумирья. Той, что на границе живёт, что смертью не берётся, что мир держит, когда ему тесно становится. Твоя прапрапрабабка была из сильных. Твоя бабка — из умных. Твоя мать... — он запнулся, и в его голосе послышалась горечь, — твоя мать была из тех, кто слишком много любил. А ты, Алия Назарова, ты — последняя. Последняя в роду. И если ты исчезнешь, если твоя враждебность к миру станет полной — не станет не только тебя. Не станет и самой возможности возврата. Понимаешь теперь, дурында?

10. Чай и печенье

Ивс подошёл к плите – той самой, старой, чугунной, которая появилась здесь вместе с особняком и которую Алия ещё не успела рассмотреть как следует. Он ловко, с удивительной для кота сноровкой, повернул лапой ручку, чиркнул когтем о коллектор, высекая крошечную искру, и зажёл газ. Конфорка загорелась ровным, спокойным пламенем, и это маленькое, привычное чудо – огонь, который можно зажечь движением руки – вдруг показалось Алии самым настоящим волшебством. Или, может быть, волшебством было всё остальное, а огонь – единственной реальностью, за которую она могла ухватиться.

Взяв двумя лапами за спинку, Ивс подкатил стул к раковине, встал на него – грациозно, как акробат, – и потянулся к верхнему шкафчику. Его хвост при этом изогнулся вопросительным знаком, а уши настороженно повернулись в разные стороны, ловя звуки.

– Где-то у меня тут был чайник... – пробормотал он себе под нос, шаря лапой в недрах шкафа. – Ах да, вот же он. Аलिएчка, ты как чай предпочитаешь? С бергамотом или с лесными ягодами? Хотя о чём я спрашиваю – в твоём возрасте пьют всё подряд, лишь бы покрепче.

Алия, всё ещё сидевшая на полу, вытерла лицо рукавом свитера – того самого, чужого, пахнувшего незнакомым пар-

фюмом. Движения её были медленными, механическими, будто каждый мускул сопротивлялся приказу подняться. Но что-то в голосе Ивса – эта нарочитая, деловитая обыденность, с которой он взялся за чаепитие, – помогло ей сделать усилие. Она поднялась, пошатнулась, опираясь рукой о стену, и подошла к шкафу.

– Я достану, – сказала она тихо, протягивая руку туда, куда кот, даже стоя на стуле, дотягивался с трудом.

Открыв дверцу, она увидела аккуратную стопку из пяти чашек с блюдцами – фарфоровых, с тонкой позолотой по краю, таких, какие, наверное, стояли в буфетах у купцов столет назад. Рядом – несколько тарелок, ручной росписи, с васильками и незабудками. И эмалированный чайник с жизнерадостным, почти издевательским в этой ситуации рисунком: красные мухоморы в траве, яркие, ядовитые, вызывающе весёлые.

Мир поддерживал уют апокалипсиса до абсурда. Или, может быть, это было не издевательство, а подсказка – нежная, ироничная, от кого-то, кто знал, что даже в конце света человеку нужен чайник с мухоморами, чтобы не забыть, что жизнь была когда-то простой и дурашливой.

Она молча подала чайник коту. Их пальцы – или лапы – не соприкоснулись, но на секунду Алии показалось, что от шерсти Ивса исходит тепло, как от печки.

Ивс, кивнув с видом знатока, одобряющего выбор, налил воду из-под крана в чайник. Поставил на огонь. Затем по-

хозяйски расставил на столе две крупные кружки – не фарфоровые, не из того серванта, а обычные, керамические, с потускневшей от времени надписью «Сочи-2014» и изображением леопарда, олимпийского талисмана. Из банки с надписью «Чай» на магните, висевшей на холодильнике, он достал два пакетика «Greenfield» и аккуратно, кончиками когтей, уронил их в кружки.

Весь этот ритуал был до боли обыденным. Кипящий чайник, звяканье ложек, шорох открываемой коробки с печеньем – и от этого реальность расходилась ещё больше, как треснувшее стекло, сквозь трещины которого просвечивал иной, невозможный мир.

Алия смотрела на это с тихим, ледяным недоумением. Её бухгалтерский ум, привыкший всё систематизировать, раскладывать по полочкам, сводить дебет с кредитом, бился о парадокс: магический кот, конец света, она – последняя в роду Яги, и... олимпийская символика на фарфоре. Это не укладывалось ни в одну схему. Это было за гранью. Но, может быть, именно в этом и заключалась суть – в том, что грань была иллюзией.

– Щас чаю попьём, – проворчал Ивс, усаживаясь на стул и подгибая под себя хвост с видом человека, который наконец-то может позволить себе передышку. – И ты малость успокоишься. На пустой желудок и с пустой головой никакие прозрения не лезут. Это я тебе как старый... как опытный говорю.

Он потянулся к холодильнику – дверца открылась с лёгким, пневматическим щелчком, – и поставил на стол стеклянную креманку с вишнёвым вареньем, густым, тёмным, янтарно поблёскивающим в утреннем свете. А затем – жестяную коробку печенья «К чаю» с узнаваемым узором из голубых цветов и золотистой надписью вязью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.